

Александр Иванович Куприн

Ночная фиалка



Александр Куприн

Ночная фиалка

«Public Domain»

1933

Куприн А. И.

Ночная фиалка / А. И. Куприн — «Public Domain», 1933

Ночная фиалка

* * *

Есть в Средней России такой удивительный цветок, который цветет только по ночам в сырых болотистых местах и отличается прелестным кадилльным ароматом, необычайно сильным при наступлении вечера. Будучи же сорванным и поставленным в воду, он к утру начинает неприятно смердеть. Он вовсе не родня скромной фиалке. Ночной фиалкой его называли безвкусные дачницы и интеллигентные гости. Крестьяне разных деревень дали ему несколько разнообразных и выразительных названий, которые выпали теперь из моей головы, и я так и буду называть этот цветок ночною фиалкою.

Он не употребляется у крестьян ни как целебное растение, ни как украшение на Троицын день или на свадьбу. Просто его как бы не замечают и не любят. Говорят кое-где, что пахучий цветок этот имеет какую-то связь с конокрадами, колдунами и ведьмами, но изучатели народного фольклора до этого не добрались.

Странные и, пожалуй, невероятные истории рассказывал мне о ночной фиалке Максим Ильич Трапезников, саратовский и царицынский землемер, мой хороший закадычный дружок, человек умный, трезвый и серьезный.

Мы тогда шли с ним на зевекинском пароходе вверх по Волге, лакомясь камскими стерлядями и сурскими раками, и времени нам девать было некуда, а на разговор о ночной фиалке нас навела веселая девчурка, лет семи-восьми, которая на небольшой пристани бойко продавала крошечные букетики этих цветов.

– Вы правы, – сказал он, – кажется, никто не знает его народного названия или очень быстро его забывает. А что касается фиолетового цвета, то этого цвета русский народ совсем не знает и нигде не употребляет. Лиловый он еще понимает по сирени, да и то говорит не сиреневый, а синелевой. И, стало быть, наименование цветка «ночная фиалка» выдуманно грамотеями. А вот почему оно так широко распространилось по всему лицу земли русской, этого я – воля ваша – уяснить себе никак не могу.

Но вы послушайте-ка, что я вам сейчас расскажу об этом цветике. Удивительная история. Расскажи мне ее другой, сторонний человек – ни за что ему не поверил бы, сказал бы: «Брешет парень, баки мне забивает, уши заговаривает». Но в том-то и дело, что во всем, что я вам расскажу, был я и пристальным свидетелем, и действующим лицом, и, можно сказать, плачевной жертвой. Жигулевского пивка не хватить ли нам по черепушечке? Для освежения гортани. Знатное здесь пивцо.

Ну, и так: окончил я курс в московском землемерном институте и вышел из него землемер-инженером, с дипломом первого разряда и с золотым гербом на фуражке. Поехал немедленно в Царицын, к моим папочке и мамочке, в родной угол. Папаша мой за всю свою рабочую жизнь обзавелся в нашем уезде стами тремя десятинами землишки, домиком деревянным о полутора этажей, сад разбил фруктовый и ягодный огород чудесный, цветничок хорошенький с любимой резедою. Парочку собак подружейных держал для охоты; двух сеттеров, кобелька с сучкою; их было уже двенадцатое поколение. И для рыбной ловли на всякие способы стояли в сенях всевозможные принадлежности. Ну, прямо рай земной, если еще включить домашние варенья и настойки. Ах, Боже мой! Какая это радость приехать в милый теплый отчий дом серьезным, солидным человеком в чине титулярного советника с блестящим будущим впереди! Папочка ведь мой был всю свою жизнь землемером и только недавно дослужился до губернского землемера. Но начал он свою карьеру во времена очень далекие, еще в конце шестидесятых годов прошлого столетия, в эпоху освобождения крестьян. Ему в радостную диковину были: и мой мундир, зеленый с золотом, и моя усовершенствованная астролыбия,

и мой теодолит для компасных съемок, с объективом Цейса. Этот объектив (правда – великолепный) более всего поразил и удивил моего папашу, старого землемера: «Боже мой, до чего дошла современная техника! Это ведь уже не прибор для обмеривания земли, это почти телескоп для наблюдения за небесными светилами. Прости за нескромный вопрос, милый Максимушка, сколько может стоить такое чудо шлифовального искусства?»

Я отвечал, что цены теодолиту я не знаю, так как не сам его покупал, а был он мне поднесен на выпускном акте самим директором института за примерное поведение и отличные успехи,

Тут и мамочка моя немного всплакнула от родительского умиления.

– Вот, – говорит, – как Господь Бог хорошо и ладно устроил, что и отцу от трудов праведных можно будет отдохнуть в своем собственном домишке и тебе наследственно отцовское место и отцовскую службу взять на свои рамена. А пока что мы тебе и знатную невесту подыщем. У нас в Заволжье этого добра – непочатый край: и умны, и красивы, и работащи, и с хорошими придаными.

Но тут отец слегка перебил возлюбленную супругу свою:

– Подожди, мать моя. Успеешь с козами на торг. О же-не Максиму рано еще загадывать. Всего двадцать лет ему. Пускай у нас на свободе побегает, вволю поест, попьет, воздухом свежим после столицы надышится, знакомствами обзаведется, поохотится, рыбу половит, а там уж что Бог даст. Ружье-то мое знаменитое возьми, Максим, себе на память, а я уж стар стал на охоту ходить. Пощебелил, да и за щеку.

И, надо сказать, после казенной замкнутой и тесной жизни пристрастился я к охоте, как пьяница к вину. Целые дни проводил на охоте. Постоянным спутником моим, а пожалуй, и учителем был ветеринар Иванов (ударение он ставил на и – Иванов), жадный, неутомимый, опытный охотник, прекрасно набивавший ружейные патроны и бывший прежде любимым сотоварищем отца по охоте. Часто мы с ним собирались уйти из дома суток на три, четыре, и тогда ключница мамы Агата, ее правая рука по хозяйству, снабжала наши ягдташи кое-чем съестным, на случай голода, и согревающим, на случай болотной простуды. И мы уходили куда раньше зари.

Странно: я уже лет с десять знал эту Агату (настоящее-то ее имя было Агафья, но уж мама для благозвучия стала называть ее Агатой), всегда видел ее, приезжая осенью на вакации, а потом, в Москве, никак не мог вспомнить ее лица, голоса и фигуры. Так, что-то тихое, молчаливое, опрятное, бледное и с какой-то неуловимой странностью в глазах.

Ну, а теперь подступаю ближе к моему рассказу. Как-то охотились мы с Ивановым в отдаленных болотцах на дупелей, бекасов и кроншнепов и зашли от дома довольно далеко, так что даже мой сотрудник стал вертеть головой, спознаваясь в местности. Потом увидели, что где-то на западе маячат чуть заметные деревянные столбы. Иванов говорит:

– Я, кажется, это место знаю. Это домишко, поставленный на столбы на случай весеннего разлива, но теперь он почти рухлядь, а живет в нем старая цыганка. Бабы говорят, что она будто бы колдунья. Мы с вами, как люди образованные, конечно, этим бабьим глупостям не верим, а, однако, попробуем. Пойдем, чай у нас с собой; кипятку нам вскипятят. Вот и попьем китайского зелья с устатку да измочившись на болотах.

Пошли. Приходим. Стоит, правда, хибарка рухляя, на четырех ножках. В ней старуха, носастая, черная, закоптелая. По виду цыганка. Развела огонь, вскипятила воду в медном тазу. Мы чай заварили, напились и старую ведьму угостили. Тогда она говорит, глядя на меня:

– Дай, барин, ручку, я тебе поворожу.

Иванов ворчит:

– Гоните ее, окаянную, к бесу.

А она уж завладела моей рукой и бормочет:

– Ах, барин молодой, красивый и будет счастлив и богат. Есть у тебя по левую сторону черный человек, он много тебе зла сделать хочет, а только ты его не страшись. Одна девица, молоденькая, хорошенькая, все на тебя глядит. Проживешь долго, до восьмидесяти лет...

И всю другую цыганскую обычную белиберду. Я дал ей пятнадцать копеек. Она опять пристаёт: позолоти, барин милый, хороший, я тебе настоящее-пренастоящее египетское гадание скажу. Приставала, приставала, – я дал ей еще полтинник. А она опять свою цыганскую мочалку жуёт. Надоело мне. Собираюсь уходить, а она все свое талдычит. Надел я шапку и уже перевесил ружье через плечо, – она в меня руками вцепилась.

– Послушай, барин ненаглядный. Я знаю, есть у тебя в мешке водочка-матушка. Поднеси стаканчик малый – скажу тебе взаправдашнюю за семью печатями ворожбу... Чего тебе бояться и чего опасаться. Это уж по гроб жизни будет верно и неизменно.

Что делать! Налил я старухе стакан водки. Высосала она его с великим наслаждением, ничем не закусивши, и говорит:

– Больше всего опасайся, молодой барин, лошадиного и кошачьего глаза, а еще духовитой ночной травы, а еще больше – полного месяца. И теперь желаю тебе пути доброго. А если когда от этих троих моих злых недугов захвораешь, заходи ко мне в хибарку мою, я тебе отворот верный дам.

Ушли мы и больше в этот день не охотились, а когда возвратились домой, то Иванов все меня пилил за цыганку:

– Не могли ничего лучше выдумать, как фараонову отродью стакан вина стравить. Эх вы, ученые столичные!

На другой день с утра пошел дождь и заладил надолго. Пришлось оставить охоту и заняться днем чтением, а вечером винтом в общественном клубе или преферансом по маленькой с родителями.

Сам не могу припомнить, когда меня вдруг несказанно поразили глаза Агаты. Кажется, это было за столом. Случайно взглянув на Агату, я увидел, что в ее зрачках горят странные тихие огоньки. Они менялись сообразно поворотам Агагиной головы то зелеными, то красными, то лиловыми, то фиолетовыми. Такую световую игру глаз я видел иногда у лошадей и кошек в темном помещении. И вот, с этого мгновения, как бы впервые увидел Агату, которую знал, но точно не видел в течение нескольких лет. Она вдруг показалась мне и выше ростом, и стройнее, и увереннее в своих спокойных, неторопливых движениях. Сколько ей было лет, я не мог разобрать. Тридцать? Тридцать пять? Сорок? Нижнюю ее губу время от времени быстро дергал небольшой тик. Она никогда не смеялась и не улыбалась, но в добрые и приятные минуты ее лицо как-то теплело внезапно на короткое время и становилось привлекательным.

Я спросил однажды матушку о прошедшей судьбе Агаты, но получил весьма скудные сведения:

– Агата (по-настоящему Агафья) – побочная дочь спившегося и обнищавшего мелкого дворянина и его служанки; круглая сирота, которую мы из милости взяли в свой дом. С детства обучали ее хозяйственному обиходу и посылали сперва в начальную, а потом в среднюю школу. Ничего себе, девчонка росла прилежная, послушная, понятливая, признательная за благодеяние, ей оказанное, а потом, будучи лет так одиннадцати, вдруг куда-то сгинула, так что и следов ее нельзя было отыскать. Вернулась через год. Оказывается, все время с цыганами бродила. Пришла и горькими слезами разливается: «Простите меня, ради Бога, и опять к себе возьмите. Никогда больше вас огорчать не стану». Ну, что тут сделаешь? Взяли мы ее к себе обратно. Идет время – мы Агашей налюбоваться не можем, нахвалиться досыта не устаем, чудо в нашем доме растет: уж и рукоделица она, и стряпуха первоклассная, и набожная, и смирна, и умна, и практична, и весела... И что же?... Садимся мы с мужем за стол, я Агату к обеду кличу. Входит она, как водой облитая: голова опущена, глаза в пол смотрят. «Что такое с тобой случилось?» А она еле слышно отвечает: «Благодетели вы мои, дайте мне разрешение и благословение в

Белогорский монастырь идти на святое пострижение в монашество». Господи, что за чудеса в решете? Стали мы ее всеми силами отговаривать: «Да куда тебе в монастырь, если тебе всего шестнадцать лет. Да какой у тебя может быть страшный грех, чтобы его замаливать, и тому подобное». Нет, уперлась, как бык, утром завязала в платочек все свое жалкое бельецо и испарилась. Жалели мы ее сердечно, но что поделаешь, если на девку накатило?

Сколько лет после этого прошло, мамаша не помнила: не то семь, не то восемь, и что вы думаете, опять вдруг наша Агата объявилась. Пала перед нами на колена, лбом об пол бьется:

– Простите меня, окаянную, заблудящую, в последний раз, последний раз прибегаю к вашей доброте ангельской, неисчерпаемой. Богом и святым Евангелием клянусь, что это уж мое последнее, распоследнее бегство. От сего дня до самой моей гробовой доски буду рабой верной и нелицемерной как вам, так и дому вашему и всему потомству вашему... – и все прочее и тому подобное...

И вот с тех пор живет она у нас тихая, покорная, бессловесная, учтивая; ну, прямо как монахиня скитская. И даже пахнет от нее как-то смиренномудренно свечой восковой, ладаном и миром.

Вскоре и я совсем перестал обращать внимание на тихую Агату, точно она была старой мебелью или, точнее, совсем не существовала в доме, и странные огни, зажигающиеся порою под длинными ресницами ее опущенных глаз, перестали меня удивлять и беспокоить. А я в то время подумывал уже серьезно о достойной женитьбе, покоряясь родительским настояниям. Женихом я считался по тамошним местам очень видным: молод, здоров, не урод, интеллигентен, стою на линии инженера, танцую вальс в три темпа, мазурку, краковяк и падеспань и дирижирую кадрилию на приличном французском языке. Ну, также и накопленное папенькино состояние. Кое-каких прекрасных и богатых девиц я уже имел на примете... Но вот тут-то и грянуло на меня чертовское несчастье...

Позабыл теперь, в каком году это случилось, помню только, что в пятницу в конце июня. День выдался такой невыносимо знойный, какие бывают редкими даже у нас в Заволжье; только к позднему вечеру стало возможно вздохнуть полной грудью. Я выкупался, поужинал и пошел в наш запущенный сыроватый сад и сел на скамейку, расстегнув догола ворот рабочей рубахи. Ох, какое наслаждение после дневного истомного пекла вдыхать свежий, душистый, прохладный воздух! Стало темнеть, выкатился огромный, без единой ущербинки, круглый, серебряный, бледный месяц. Где-то засветились и задрожали крошечные светлячки. Сад стал бледно-волшебным. Я услышал чьи-то легкие шаги. Это шла Агата, вся облитая бледно-зеленым светом.

– Позвольте мне присесть около вас, Максим Ильич, – сказала она дрожащим голосом.

Я посторонился.

– Пожалуйста, прошу вас. Посмотрите, какая прекрасная ночь.

– Да, прекрасная, – отозвалась она. – Прелестная. Возьмите, вот я вам букетик цветов принесла, чудно пахнут так.

Одновременно я почувствовал упоительный, зовущий, возбуждающий аромат и почувствовал ее горячую руку на моей ноге. Пылкое, никогда не испытанное мною желание пробежало по всему моему телу, от ног до волос на голове. Я чувствовал, что весь дрожу, а она тихо говорила, обдавая мое лицо своим дыханием:

– Если бы вы, Максим Ильич, знали, как я привязана ко всему вашему дому! Как я люблю вас всех! И папу вашего, и мамочку, и вас люблю. Люблю, люблю, люблю! О Максим Ильич, я хотела бы быть всю жизнь рабой вашей, собакой вашей, ковром вашим, подстилкой для ног ваших! О, как страшно я люблю вас! Если бы нужно было для вашего здоровья или для вашего удовольствия отдать всю кровь мою и все тело мое и даже загубить навек бессмертную душу мою, я с радостью отдала бы все!

Нет! Об этой ночи словами не расскажешь! Наглый, колдовской месяц, сводник влюбленных, друг мертвецов, покровитель лунатиков, одуряющие запахи ночной фиалки и ее безумно жаждущего тела, зеленые и красные огни в ее зрачках... Она говорила, лежа, содрогающаяся, на моей обнаженной груди:

– Одна мечта моя за много лет была – поцеловать тебя в губы, в губы и умереть тут же на месте.

И мы поцеловались. Силы небесные, что это был за поцелуй. Мне казалось, что земля кружится подо мною и что я схожу с ума. А она шептала восторженно:

– Еще, еще, еще...

Я пришел в свою комнату на рассвете. Ноги мои подгибались, в голове гудел шум, все мускулы ныли, руки тряслись, лицо горело.

Моя мать зашла ко мне и спросила:

– Что с тобою, Максим, ты сам на себя не похож?

Я сказал:

– Это от жары, день был ужасно жаркий.

А она сказала:

– Нет, это не от солнца. Это лунный удар, иди скорее в постель. Сном все пройдет.

Я лег. Ночью пришла ко мне Агата, а под утро я к ней прокрался в антресоли. Так у нас и пошло каждый день, каждый час, всегда. Мы стали друг к другу голодны и никогда не насыщались.

Черт знает, откуда эта женщина, рожденная и воспитанная в диком захолустье, могла научиться этим бесстыднейшим и утонченнейшим любовным приемам, затеям и извращениям, о которых мне теперь даже вспоминать срамно. Но тогда я жил в каком-то блаженном и сладостном аду, обвязанный невидимыми тонкими стальными нитями. Оба мы, радостно-безумные, сумасшедшие, ни о чем не думали, кроме нашей любви. Мы узнавали друг друга издали: по голосу, по походке, по запаху, узнавали – и неудержимо стремились друг к другу, чтобы вновь упиться бешенством разъяренной страсти. Все кусты, амбары, конюшни, погреба и пристройки были нашими кровлями любви.

Агата хорошела и здоровела, но я радостно шел к гибели. Я стал похож на скелет своею изможденностью, ноги мои дрожали на ходу, я потерял аппетит, память мне изменила до такой степени, что я забыл не только свою науку и своих учителей и товарищей, но стал забывать порою имена моих отца и матери. Я помнил только любовь, любовь и образ любимой.

Странно, никто в доме не замечал нашей наглой, отчаянной, неистовой влюбленности. Или в самом деле у дерзких любовников есть какие-то свои тайные духи-покровители? Но милая матушка моя, чутким родительским инстинктом, давно догадалась, что меня борет какая-то дьявольская сила. Она упросила отца отправить меня для развлечения и для перемены места в Москву, где тогда только что открылась огромнейшая всероссийская выставка. Я не мог идти наперекор столь любезной и заботливой воле родителей и поехал. Поехал. Но в Нижнем Новгороде такая лютая, звериная тоска по Агате мною овладела, такое жестокое влечение, что сломя голову сел я в первый попавшийся поезд и полетел стремглав домой, примчался, наврал папе и маме какую-то несуразную белиберду и стал жить в своем родовом гнезде каким-то прокаженным отщепенцем. Стыд меня грыз и укоры совести. Сколько раз покушался на себя руки наложить, но трусил, родителей жалел, а больше – Агатины соблазны манили к жизни. Вот тут-то самоотверженная матушка моя начала энергично разматывать тот заколдованный клубок, в нитях которого я так позорно запутался. Вначале взялась она за ветеринара Иванова, с которым мы прежде постоянно охотились. Тот рад-радехонек был прийти на помощь чем может. Рассказал точно и обстоятельно о том, как мы зашли к цыганке, как цыганка гадала на мое счастье, как указывала, чего мне следовало бояться и опасаться, и как велела обратиться к ней за отговором в случае беды. Тогда мамаша послушно пошла к цыганке

и долго с ней говорила. Уходя, совала гадалке четвертной билет, но та не взяла. «Я, говорит, Божьему делу помогаю, а за это денег не берут». К последнему сходила матушка – к соборному протоиерею, отцу Гавриилу, священнику постарелому и святой жизни. Протоиерей ее благословил и наставил.

Наступил день архангела Гавриила. Матушка заказала молебен на дому. Собрала в зале все всех домочадцев, включая и Агату. И меня научила, что мне делать и говорить. Отслужили молебен честь честью. Духовенство отбыло. Тогда мамочка начала говорить тихо и внушительно, глядя серьезно на Агату:

– Милая наша Агата, вот была ты много лет верным другом нашего дома, нашей трудолюбивой помощницей и терпеливой сотрудницей. И вот подумали мы, что довольно тебе быть приставницей у стад наших и что пора тебе обзавестись собственным домиком и собственным хозяйством. Вот в этом бумажнике, который я тебе передаю, есть крепостная на небольшой клочок земли и сумма денег, необходимых для первого обзаведения хозяйством. Это все от мужа, а от меня двадцать выводков кур, гусей, уток и индюков. От сына же нашего Максима получишь ты необходимую мебель, а на память золотые часики работы Мозера. Вручи их, Максик, Агате.

Передал я часики и простился с ней последним взглядом, и видел, как она смертельно побледнела. Тогда матушка взяла кропило и окропила всех присутствующих освященной крещенской водою, а сама читала трогательное воззвание к Божьей Матери: «Призри с небеси, всепетая Богородица, на их лютое телесе озлобление и утоли печаль их души...»

Вот и конец всему. А той же ночью исчезла Агата из дома, никому не сказавшись, ничего не взявши с собою из подаренных денег и вещей.

Так и пропал ее след навеки. А мать в свой поминальник включила рабу Божью Агафоклю, недугующую и страждущую, и поминает ее за каждой обедней и всенощной...